

УМАЛЕНИЕ ДОБРА

Зоя Журавлева

Это был Коктебель, 89 год, май, ветер, солнце, одуряющий запах полыни, полыхающие малиновым тамариски, турбаза, вздорный крик старого павлина, смеялись — еще эмирского, знаменитая междисциплинарная Школа А. М. Молчанова, «Математического моделирования в биологии», кажется, так она официально называлась, никто не знал, что Школа уже кончается, как и страна, собрались тогда в предпоследний раз. Но ведь никто не чувствовал! Эх, какая была команда! Никаких завиральных идей не чурались, точнословы и эрудиты, докладчика тут же после доклада в ключья рвали, прозрения, для чистой науки загадочные, мгновенно подкреплялись искусством, «ну, помните, у Кандинского?», все сразу — помнили, интеллектуальный тонус был жгучий. И девиз неписанный: «Наука баба веселая и звериной серьезности не терпит», Тимофеев-Ресовский. Выступить на Школе с докладом — честь была.

Валентин Вонифатьевич Корона, биолог из Свердловска, приехал с докладом на одни сутки. Выделялся среди нас, уже обжившихся и горластых, строгим костюмом и особой какой-то четкостью в пространстве.

Доклада его я не помню начисто.

Вечером, почти уже ночью, мы с ним забрели довольно далеко от Коктебеля, к Мертвой бухте. Там, деликатно отталкивая волну ботинком, он сообщил мне, что зла — нет. «В каком смысле?» — «Вообще. Его в мире нет». — «А чего же есть-то? И почему так много?» — «От непонимания», — он улыбнулся деликатной своей улыбкой. У него, будто, дедушка был — белый маг. Белые маги зло в принципе отрицают. «И по наследству передается?» На «Вонифатьевиче» я слегка запнулась. «Валентин Вонифатьевич, — наверное, слишком между нами торжественно. Лучше — Валя». Это мне навсегда подошло: легко и мягко. «Но Вы ж не ответили, Валя! Вы, может, тоже маг?» — «Я? Нет». — он засмеялся. Смех тоже был исключительно деликатный, это слово, сразу тогда возникшее, многое в нем для меня и сейчас определяет.

Не знаю, почему я ему так сразу тогда поверила. Но всегда потом, когда мы с Валею встречались, когда я о нем просто думала или читала его письмо, я твердо и радостно помнила, что зла — нет. Вообще! Это, как теперь понимаю, был эффект его присутствия в моей жизни. И эффект этот, вне зависимости от расстояния между или временных перебивов связи, был постоянно действующим, мощным и работал как оберег.

Что есть в миру — родная душа.

И только когда его вдруг не стало, меня зазудело. Что же он все-таки тогда имел в виду? Почему же я, толстокожая, у него не спросила? Или уж так память отшибло? Честно-то говоря, ответ — брезжил. Но очень уж, видать, казался прозрачным до мистики. И потому, значит, нуждался для меня в подтверждении со стороны.

И вот на днях я небрежно вытянула листок из принтера и нашла подтверждение.

«Есть такие люди, — читала я, — для которых зла не существует, потому что его нет в них самих, ни чуточки. Я всего несколько таких встречала: чистые души, редкостные, глаза у них прозрачные, голос, как правило, негромкий, по земле пройдут — ничего не заденут. Следы от них, как от птиц, — когда остаются, а когда нет. Напора вроде нет, парят себе в восходящих потоках воздуха, а проникают дальше многих. Ведь чтобы зло ощутить как реальность, надо его в себе пережить, носить в себе. Замечала я также, что в присутствии подобных людей зло, действительно, скукоживается до комка пыли и застенчиво забивается

под лавку, во всяком случае, не совершается. Такие вместе с дедами раннехристианскими могут сказать, что зло не имеет содержания — это просто умаление добра».

Нет, они не были знакомы и, пока Валентин Вонифатьевич был жив, даже и не слышали друг о друге. Но, прочитав, я вздрогнула. Ибо как раз это — настоящие воспоминания о нем, каким я его внутренне помню. Дело, значит, не в суете биографических фактов, а в прямом прозрении сути. Это ж он! Я не раз замечала, как в переполненном зале он садится на самый скрипучий стул абсолютно беззвучно и немножко боком, как птица...

Хотела бы я о нем так написать!

Но, общаясь друг с другом, мы, по счастью, не так пронзительны. Это здорово бы нашу жизнь усложнило! Кроткая беззвучность его движений частенько меня, наоборот, раздражала. «Ты чего крадешься? Я даже испугалась: вдруг ты!» — «Нет, я просто подошел». — «Ну и подошел бы, как человек!» — «Я — как человек. Думал, может, помешаю». Эта чуткая осторожность была в нем даже чрезмерной: чтоб ненароком не помешать. Интонация его — для меня слишком ровная, не хватало красочности и эмоционального напора. Эмоции были запрятаны глубоко, будто их и нет вовсе. Чистое истечение мысли! Голос, негромкий и четкий, заставлял внимательно вслушиваться, не помогая ничем, кроме самой мысли, не предлагая для удобства концентрации столь мной любимых перепадов. Вдобавок, темп речи его был словно слегка замедленным, слишком медлительный для меня. «Давно поняла, Валь! Ну! А дальше? Чего ты тянешь? Я сейчас умру!» — «Нет, не умирай. Я как раз хочу подробно тебе рассказать...» Сроду не поторопитесь! В нем жила прекрасная гармония самодостаточной мысли, которая не нуждалась в скоропалительной быстроте. И в моих эмоциональных всплесках. Когда в его письме я вдруг натыкалась на: «Безумно рад услышать...» то-то се-то, так и тянуло крикнуть: «Что это такое, Валя, на твоём языке „безумно рад“»? Ну, не могла я себе представить, как это на его эмоциональном пейзаже выглядит. И сейчас — не могу.

Закрытый человек, с ними всегда так. Хоть порою так бесхитростно просты в общении!

Сбить Валентина Вонифатьевича с мысли не представлялось возможным. Впрочем, вру, один раз мне это запросто удалось. Говорили, помнится, о работе Флоренского, насчет магичности слова, как он это понимает. Мы с Валею, сами додумавшись, понимали приблизительно так же и очень радовались, что эту статью наконец для себя открыли. Как это мы раньше-то ее не знали, прямо грех! И посреди его какой-то тирады, меня вдруг дернуло спросить: «У тебя какая квартира?» Не знаю, чего меня вскинуло! Видно, до этого он рассказывал, как до ночи сидит в лаборатории. Приспичило выяснить домашние условия! Вопрос, вроде бы, не ахти какой заковыристый! Но эффект был такой, словно я ударила его сбивалкой для пюре в переносицу. Он на полуслове замолк, как подавился. И слепо воззрился на меня. Причем лицо у него сделалось вдруг абсолютно беспомощное и тупое. Я даже не подозревала, что у него может быть такой вид! — «Ты чего, Валь?» Он молчал и смотрел все так же. «Забыл, что ли?» — «Почему забыл? — ну, наконец, вроде бы очнулся. — Квартира? Нормальная квартира...» И голос такой вдруг скучный, прямо жить неохота. Так я в тот раз ничего про квартиру и не узнала. Вернулись к Флоренскому. И больше я никогда в бытовые реалии не лезла: это, как выяснилось, была другая его ипостась, меж нами ему не нужная.

Жили мы в разных городах, Питер и Екатеринбург — это по нынешним временам друг от друга дальше и недоступнее, чем, к примеру, Питер–Бостон или Питер–Хайфа. Встречались достаточно редко: обидно редко, как теперь понимаешь. Общение настоено было исключительно на общих идеях: тем хватало, сроду их не переговоришь. Так что быта я его я совершенно не знаю. Какие он стихи любит — это пожалуйста, тут у нас много совпадений, а сколько лет детям — это я уже после узнала.

Не уверена, что то, чего в принципе нет, так уж при нем скукоживалось и залезало под лавку. Те, кто жил и работал рядом, всякое говорят. В Валино понимание человека входя-

ло — переваривать это молча. Жертва, как ни крути, — сбоку всегда жалка. Он ничьей жертвой не был. Жил — в том, что ему доставляло радость. Может и вопреки, но как хотел. Сделал, как мы теперь по архиву видим, больше, чем даже мы, в него верившие, предполагали. И от него я никогда ни о ком, ни об едином человеке, с кем бы он сталкивался, ни одного плохого слова не слышала. Он других не судил. О людях вообще немного рассказывал. Люди как таковые его, по-моему, не сильно занимали (близких — не трогаю, это другое), чтоб бессонно о них бы думать и их разбирать. Я-то как раз людьми пристрастно интересуюсь: занимает меня этот спорный продукт эволюции. А Валя любого человека, мне кажется, воспринимал — как носителя мысли. И коли мысль была ему интересна, то и человек этот.

Он так роскошно и глубоко укоренен был в мировой культуре, как в науке, так и в искусстве (стоит посмотреть библиографию к любой его книжке: в «Основах структурного анализа в морфологии растений» — почти 350 наименований, я тут всех нашла, кого люблю, из всех сфер, а ведь это, если не ошибаюсь, — по материалам кандидатской диссертации!), что умных собеседников ему хватало. К глупым он — не привык и, на мой взгляд, не больно в них разбирался. На этот счет была у него прелестная черта, оберегающая и редкая, которую я всякий раз с новым наслаждением наблюдала в действии. Помню, на Конгрессе Якобсона он весь обеденный перерыв, как я ни пыталась его оторвать, простоял с совершенно петуховым молодым человеком, упоенно с ним беседуя. На любой конференции такие есть, пустые и неотцепимые липучки. Народ уже в зал валил, а он все еще аккуратно записывал его координаты, обещал прислать статью, диктовал свой домашний адрес. И уж так с ним душевно прощался, прямо друга нашел! «Прости, заставил тебя...» — «Да уж! И, главное, было бы с кем и об чем!» — «А ты слышала?» — «К сожалению. Нас в буфете такие люди ждали!» — «Не скажи! Он так любопытно говорил о поэтичности по Якобсону...» — «Он говорил? Это ты ему говорил! И действительно — очень любопытно, вечером обсудим». — «Я?» — «А то кто же? Он, что ли? Он только зубом клацал да всхрапывал!» — «Я? Ну, значит я так увлекся. Мне показалось — он...» «В следующий раз — крестись!» — «Ну, не имеет значения. Мы очень хорошо, я считаю, поговорили...»

Это, сами понимаете, — от душевного богатства. Истинно богатые (материальные блага — не трогаю, пусть с ними другие разбираются), по моим наблюдениям, — щедры и как скопидомное богатство богатство свое не воспринимают, а ощущают это как естественное человеческое свойство — жить человеком.

Валентин Вонифатьевич, при абсолютной вроде погруженности в себя, великолепно умел слушать и слышать. И реакция его на заинтересовавшую или близкую ему мысль была мгновенна. Как у эфы, хочется мне добавить. Это, кто не знает, — азиатская гадюка, на вид — вялая, сроду не подумаешь, что она так пружинна. А чтобы собраться и нанести удар, эфе требуется всего-навсего четверть секунды. Ну, это сравнение, может, некорректно, может, кто змей не любит. А для меня красота и стремительность очень с ними связаны.

Валина реакция была — одна четверть секунды, как у эфы.

Помню, на конференции «Математика и искусство» в Суздале, 1996 год, я делала доклад «Искусство как феномен жизни». Пафос моего выступления сводился к тому, что произведение искусства, картина-стихотворение-сюита-что-хочешь, это особая форма жизни, которая и являет себя как жизнь, но мы не умеем и не хотим эту жизнь признать, поскольку и со своей обычной-то формой никак не можем справиться. Доказательства мои были, скорее, эмоциональными, чем, и сводились, в основном, к личному опыту отношений с текстом, к таинству его рождения, когда ты во многом уже не властен, и к его полной от тебя свободе потом, когда он живет опять же по законам живого, а не как вещь. И потому, сколько мы вокруг искусства ни прыгай хоть с какой математикой-синергетикой, мы, слава Богу, в нем ничего не поймем, в чем его и счастье.

Зал был мне свой, конференция — любимая, народ внимал, как у нас принято, с беспредельным дружелюбием, очень было душевно, но потом, кроме дружного хлопанья, ни-

какого человеческого отклика не последовало, ни чтоб кто обругал за глупость, вдруг страстно заспорил бы или, вовсе невероятное, бесстрашно бы поддержал.

Я вдруг ощутила свое сиротство.

Тут беззвучно воздвигся на трибуне Валентин Вонифатьевич Корона, с которым мы, кстати, двух слов еще в Суздале не сказали по причине дикого многолюдства и текущих дел. К счастью, у меня сохранилась кассета. И вот что он говорил, негромким своим и почти невыразительным голосом, но мне было — целительный набат:

«Сейчас прозвучало интересное сравнение художественных произведений и живых организмов. Это, я вижу, воспринято многими как метафора, но дело в том, что на самом деле это суть дела. Дело в том, что литературные произведения потому напоминают живые организмы, что живые организмы являются текстами. Начиная с молекулярного уровня своей организации. И мы знаем, что на молекулярном уровне это воплощается в генетическом коде. Таким образом, полная система, с которой мы имеем дело, это — система языка, начиная с молекулярного уровня организации. Таким образом, на социальном уровне в сфере искусства мы наблюдаем то, что заложено еще на молекулярном уровне организации биологических систем. Поэтому структура литературных произведений изоморфна структуре живых организмов.

Из этого следует два важных вывода. Первый. Об ограниченной способности математических методов, включая и синергетику, объяснить строение биологических систем и, соответственно, произведений искусства. Потому что биологическая форма определяется не только взаимодействием вещества и энергии, но и информацией. То есть, представляет собой триединый поток вещества-энергии-информации. То есть, информационные аспекты являются существенной особенностью живого. Существенной особенностью. В то время как синергетика рассматривает формообразование, возникающее в результате взаимодействия двух потоков — вещества и энергии. Поэтому биологические системы являются более адекватными моделями художественных произведений. И наоборот. Художественные произведения, в свою очередь, могут служить моделями биологических систем, поскольку они имеют сходный тип организации.

И второй важный методологический вывод. Моделирование формы художественных произведений должно опираться на те же принципы, на которые опирается моделирование живых организмов. Речь идет не только о формальной стороне дела, о применении математики в той или другой области, но и о вещественной, субстратной, стороне. В частности — о механизмах реализации генетического кода. В частности, с этой точки зрения художественное произведение может быть представлено в том же ракурсе, что и живой организм. А именно — как некая фенотипическая форма, реализованная на некоей генотипической основе с помощью программы развития. Исходя из этого, может быть поставлена задача выявления, фигурально выражаясь, генотипической основы художественной формы и правил ее преобразования в фенотипический образ. Речь идет не о формальных правилах, а о правилах, адекватных природе процесса, то есть, аналогичных тем правилам, благодаря которым из генетического кода возникает органическая форма».

Вот что он сказал. И с ним тоже никто тогда не спорил, но никто и в поддержку не выступил. Но одиночества я уже не чувствовала. Потом он сделал доклад по Ахматовой: это, значит, первые были наметки к книге, разбирался со стихотворением «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз». И вечером спросил меня: «Ну, как?» Ничего хорошего от меня не услышал. Ахматову я люблю, а разборы — нет. Все воспринимаю как покушение на таинство. Переход видовой «стрекозы» в родовое «насекомое», потом, повышая статус, — в «фауну», каковая есть «видимая форма» восторга во мне не вызвал. Ну, красиво! К поэзии отношения не имеет. Валя был кроток: «Ты же знаешь, я сам ее люблю. Нет, я не покушаюсь. Это ж попытка анализа технологии» — «Да не нужна мне твоя попытка!» — «Тебе, конечно, не нужна. Но все-таки что-то тут возникает. Фрейд прав, науку определяет не предмет, а метод». К этой цитате он был пристрастен. «Это не наука, а поэзия. Ты же

взял специфические стишки. А ты попробуй своим этим методом разобрать ну, хоть: «но сердце знает, сердце знает, что ложа пятая пуста». Видовое — «сердце», переводим в родовое — «органы». Дальше чего? Флора, фауна?» Валя ожил: «Нет, тут особенно интересно: «ложа». Это, по-видимому, все же «дерево», как ты считаешь?» Тут мы оба сильно развеселились. И попробовали внедриться в разные дорогие строчки.

С юмором у него было все в порядке. Юмор был тонок и парадоксален. На себя — вполне распространялся.

После, уже без него, я наконец прочитала «Поэтику автовариаций». Прозрачная книжка. И очень — по отношению к Анне Андреевне Ахматовой — деликатная. И что-то в этом есть! Хотя как все вместе аккуратно ни складывай, стихотворения не получишь. Потому как — живой организм, им же и сказано. А в авторском Предисловии глаза мои сразу выхватили: «Нас и сейчас не оставляет ощущение какой-то тайны, скрытой в ее произведениях».

Тайну — он чувствовал и чтит. Потому что сам был талантлив, так я это понимаю: талант — всегда тайна и сопричастен родственному.

Когда он прислал мне своего «Мороза», я впала в полный восторг. И тут же ему сообщила, что теперь смело можно в теле-шоу интеллектуалов, тотально ныне всесильное, включать вопрос: «Кто является матерью Снегурочки?» Варианты ответов: 1. Наташа Ростова, 2. Дарья Морозова, 3. Сонечка Мармеладова. И таким образом свежо расширить репертуар. Он очень оценил. Написал по е-меле, что «безумно смеялся». Представляю! И заодно рассказал, как «Мороз» возник. Это, по его словам, вышло так. Хороший человек его попросил написать что-нибудь про женщин. В связи с чем — не помню, может, к 8 марта. А он сказал, что ничего такого не знает, кроме «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А этот умный человек будто сказал: «Вот про это и напишите!» И Валя тогда подумал: почему бы и правда не написать?! «Ну, если столько знаешь», — хмыкнула я. «Вот и мне показалось — зачем знаниям пропадать. Подумал. И написал».

И ведь взял такое исхоженное, до бетона затоптанное, со школы замученное!

Я «Мороза» перечитываю для тонуса. Просто физически это чувствую. Как легко и словно бы безмятежно виясь, мысль его проникает куда-то вглубь, тычинке в пестик, и там, вроде бы в темноте, повинуюсь нежным токам и собственным импульсам, мягко ввинчивается в живую ткань крошечного стебелька, не разрушая эту тихую, наполненную собою жизнь, а, наоборот, привнося в нее какие-то дополнительные, видать — художественные уже, что ли, соки. И так, постепенно, от кончиков листьев и дальше, дальше, он изящно и неуклонно добирается к корню, осмысленно и согласно следуя вечным извилам жизни. Корень — миф. Ну, растительное сравнение во мне, само собой, — от штампа. Был бы он орнитолог, начинала бы с клюва расписной синички.

Валя штампом умел пренебречь: для него — их не было, редчайшее свойство.

Как-то раз он у меня в Питере жил, недели три, если не ошибаюсь. Вдруг у него получилось — вырваться. Но вышло это для нас неудачно. У меня в аккурат шел месячный курс интенсивной Английской школы, где круглосуточно в языке. Я его еще по телефону предупредила, что общаться не смогу вообще. И читать ничего не буду. Ни строчки! Он, судя по голосу, не поверил. Но мигом убедился, что правда. Тут же это принял. И жил рядом беззвучно. Хотя в полной гармонии. Все удивлялся: «До чего же я поел хорошо!» — «Да чего же хорошего, Валечка? Ухаживать нет когда. Опять картошка-сосиска». — «Нет, ты не понимаешь. Я так у тебя ем...» — «Чего ж? в Свердловске, что ли, не ешь вообще?» — «Да я ж все в лаборатории. Чай пью...»

Он привез готовую рукопись Ахматовой. Я ее тогда и не открыла. Во-первых, идиосинкразия еще держалась: «Так ты к Анне Андреевне и прилип со своей систематикой!» Во-вторых, никаких чтобы русских текстов, иначе Школа — коту под хвост. «Я же не говорю,

чтобы ты сейчас читала. Когда-нибудь. Я думаю, может докторскую по этой работе защитить...» Я прямо со смеху умерла. «Да кто у тебя возьмет?! Это ж гуманитарии, хлеб их насущный. Загрызут на входе». — «Ты так считаешь? Я все же попробую поговорить...» — «Ну, попробуй, если шкура крепкая».

И ведь куда-то он все ходил, тощей, в детской своей по зиме беретке, с вечным своим портфелем, который не сдвинешь, с кем-то, сообщал мимоходом, знакомился, чего-то еще дописывал вечерами, а утром, раньше меня, опять куда-то шел. Знать бы: к кому?! И в один прекрасный вечер доложил вдруг: «Берут...» Я, честно, даже не поняла: «Кто? чего?» Он застеснялся. «Ну, помнишь, я говорил насчет защиты...» — «Ну?!» — «Мне предлагают у них защищаться. Немножко нужно, конечно, еще посидеть...» — «Где тебе предлагают, чудовище? Кто? Докторскую?» Я поразились до глубины души. Он даже слегка покраснел. «Да. В ЛГУ». Называл какие-то фамилии. По-моему, это филфак был, кафедра матлингвистики. Может, путаю. Но не биофак же? Я все равно тогда не вникла. В тот день была контрольная, башка забита. Хотя, само собой, очень за него порадовалась.

Нет, видно, все же мы иногда разговаривали. По ночам. В кухне, где у нас почти художественный салон. И редко кто хочет, попав в нашу кухню, идти дальше. Что-то он, значит, мне сильно умственное рассказывал. Потому что моя дочь, девушка сильно острая и предельно истомленная моими духовными общениями, вдруг как-то остановила меня в темном коридоре: «Я думала, ты самая большая идиотка, а оказывается — есть и поболее». Понимаю, в пересказе звучит грубовато, надо знать контекст. Это с ее стороны был невиданный комплимент. Я была польщена: «Знай наших!» И Валя расцвел: «Она так и сказала? А чего ж я такое сегодня сказал?» — «Вот и я не помню». — «Нет, что-то я значит удивительное сказал...» — «Случайно, Валь!» — «Случайно, совершенно случайно. Это у меня случайно вырвалось. Ты ей объяснила?» — «Тебя ж невозможно объяснить».

Уезжал сильно взбудренный. По его ровности — даже возбужденный. А через пару месяцев мимоходом в письме обмолвился — я, мол, передумал по Ахматовой защищаться, работа сделана, уже не так интересно, буду по биологии...

Где-то пропало в компьютере его счастливое письмо — когда он в Институт экологии перешел. Писал, что чистый рай, даже де не знал, что такое бывает, никто над душой не стоит, можно заниматься, чем хочешь и что любишь, идей много, деньги почему-то платят, а территория такая роскошная, цветы, деревья, птички, чистый рай. И даже обещают послать в Москву за их счет. Я последний раз его и видала в Москве «за их счет» — прямо сиял, такая пошла новая хорошая жизнь, обещали опять послать на семинар. И выглядел благостно, слегка поправился. И совсем недавно ведь это было!

А будет — все дальше...

Зла, может, действительно нет. Но смерть Валентина Вонифатьевича Короны — трагическое и невосполнимое умаление добра: без него добра на земле стало ощутимо меньше. Мы все это чувствуем.